

Алексей Притуляк



ЧЁРНАЯ ПТИЦА

**М**агический  
**Р**еализм

16+

Алексей Притуляк

**Чёрная птица**

«ЛитРес: Самиздат»

2019

**Притуляк А.**

Чёрная птица / А. Притуляк — «ЛитРес: Самиздат», 2019

В горах Монте-Вильяно, в стране, раздираемой гражданской войной, он, Матео Сакраменто, попадает в плен к "синим мундирам".

В оформлении обложки использован коллаж выполненный автором на основе фотографии элементов письменности майя из музея Паленке, Мексика, являющейся общественным достоянием, и собственной визуализации автором геоглифа из пустыни Наска.

Матео Сакраменто попался глупо, глупее не придумаешь – вышел прямо навстречу синим мундирам, как будто специально договорился с ними о встрече здесь, у ручья, под скалой, нависавшей над тропой, что ведёт из Гуаранки в Тапальо. Это хорошо ещё, что они не начали сразу стрелять и не ткнули штыком, а ведь могли бы. Наверное, они не сделали этого просто потому, что им как раз нужен был кто-нибудь вроде Матео, такой же дурень, способный среди бела дня сунуться в Пачапати. Ладно хоть успел напиться у ручья, прежде чем они вывернули из-за скалы.

Его особо не били – так, пнули пару раз, да капрал, у которого нехорошо пахло изо рта, а голова под кепи была сплошь в коростах, ударил по лицу рукояткой револьвера, рассёк щёку. «Из этих?» – лениво спросил пленника подошедший лейтенант – тощий, длинноносый, с безнадежно усталым взглядом, который он старательно отводил от стекающей по щеке Матео струйки крови. «Не знаю никаких „этих“», – пробубнил Матео Сакраменто, слушая, как усе-лась на затылок и поёт птица-смерть, да как в животе что-то подрагивает от этой песни.

Больше лейтенант ничего не сказал. Только сделал знак своим, чтобы связали пленного.

Лейтенанта звали Луис Бастиани. Его дед, Луиджи Бастиани, тощий стручок в полтора метра ростом, прохвост, каких мало, но жизнерадостный и женолюбивый, за что в конце концов и поплатился жизнью, сто тридцать три года тому назад прибыл из Италии в трюме развальной под названием «Астерия», и был чуть жив, когда выбрался на берег – морская болезнь едва не доконала его. Однако доконать Луиджи Бастиани было не так просто. Он начал с того, что продал за девять песо добротные лаковые туфли мануфактуры «Нико Дзаннони», что висели у него, совершенно ещё новые, на шее, связанные шнурками, и эти девять песо были в тот день единственным его богатством, а уже через год он женился на дочери Хорхе Родригеса – известного купца и пройдохи ещё большего, чем сам Луиджи. Мария Родригес была старше Луиджи Бастиани на восемнадцать лет и звалась у людей «Двуликой», потому что левая сторона её лица была обезображена в детстве, когда она, по недосмотру служанки, уснула, сидя у раскалённой печи. В браке с нею Луиджи Бастиани породил двенадцать сыновей, но выжил из них только один. От этого единственного выжившего было у Луиджи двенадцать внуков, но выжил тоже только один. Он сел за стол напротив, закурил пахиту и подвинул к Матео Сакраменто мутный стакан, на дне которого тихо тлел глоток огненного писко. «Выпей, красный, – сказал он. – В последний раз». – «Я не красный», – ответил Матео Сакраменто. «Всё равно тебе не жить, – сказал лейтенант Бастиани – Так хотя бы выпей напоследок. За победу революции. Неужели ты не выпьешь за вашу вшивую революцию, красный?» – «Я не красный», – повторил Матео, и он будет повторять это ещё десятки раз, но так и не сможет убедить лейтенанта, в жилах которого текла кровь итальянского афериста, убитого на девяносто шестом году жизни отцом Хосефы Мадрид, семнадцатилетней красотки из Монсепино, что стала последней страстью Луиджи Бастиани. Он лежал с ножом в горле на супружеской кровати, на которой зачал двенадцать своих сыновей, иссохший от времени стручок полутора метров ростом, и кровь клокотала и душила его, и взгляд стекленел. Он издох ровно в ту минуту, когда его последний, двенадцатый, внук сделал свой первый вдох. И он делал его всякий раз перед тем как ударить Матео Сакраменто в лицо, и при этом губы его вытягивались в трубочку, чтобы с шумом и свистом втянуть воздух, а глаза сужались в щёлочки, и весь он становился похожим на обозлённого броненосца, так что Матео всегда наперёд знал, что сейчас лейтенант ударит и знал, куда. Луис Бастиани старался бить так, чтобы не было крови, потому что крови он не переносил и при виде её делался бледным, как саван. И всякий раз, как лейтенанту предстояло избить или убить кого-нибудь, он надевал круглые чёрные очки, какие носят слепые – эти очки

снижали рдеющий накал цвета крови, делая его похожим на цвет тлеющих углей, уже подёрнутых чёрной плёнкой умирания, и это было не так страшно.

«Сколько тебе лет?» – спросил он на первом допросе. «Девятнадцать, сеньор», – ответил Матео. «А когда должно исполниться двадцать?» – «В феврале, сеньор». – «Что ж, – сказал лейтенант Луис Бастиани, – значит, до двадцати ты не доживёшь. Потому что тебя расстреляют в январе. Но ты не расстраивайся, девятнадцать тоже хорошее число, оно состоит из девяти и одного, а это в сумме даёт десять – половина от двадцати. Но десять лучше, чем двадцать, потому что считаем мы, как тебе известно, десятками; в день Вящей Славы в Санта-Валенсии сожгли десять праведников, а в лестнице святого Себастьяна – десять ступеней; в одической строфе содержится десять стихов, как и десяток строф будет в поминальном песнопении, которое по тебе споют, если только тебя когда-нибудь похоронят по-человечески, а не бросят в общую могилу вместе с десятком таких же ублюдков».

Матео Сакраменто поместили в каменном сарае под охраной часовых. Сарай был складом при скобяной лавке Адальберто Гомеса, пока помещение не экспроприировали для нужд армии и не превратили в тюрьму. Внутренние перегородки были снесены, два маленьких оконца заложены, на каменный пол брошено сено, которое теперь давно уже наполовину сгнило и слиплось от грязи, крови, пота, мочи, плевков и слёз тех, кто сиживал тут до Матео. Сам хозяин бывшего склада и лавки тоже посидел в нём, прежде чем был расстрелян за пособничество красным, которым продал по глупости или неведению ящик гвоздей. Когда за ним пришли два гвардейца под руководством капрала, чтобы отвести к месту казни, он просил только об одном: пусть в виде исключения его расстреляют здесь же, у стены лавки, за прилавком которой он простоял семьдесят лет. Просьба его не была удовлетворена, потому что устав требует расстреливать в отведённом для этого месте – на обнесённом колючей проволокой участке во дворе, за казармами, и у специально для этой цели выложенной из камня стены семи метров в длину и двух в высоту. Адальберто Гомес, стоя у расстрельной стены, до последнего не сводил глаз с жёлтой вывески своей лавочки, в которой он родился и где прошла вся его жизнь. Он не слышал ни картавой речи капрала, читавшего приговор, ни бормотания пьяного капеллана, который боролся с мучительной отрыжкой во всё время, пока пытался склонить смертника к последнему причастию. Не услышал он ни команды «Целься!», ни выстрелов, и когда две пули ударили его в грудь (третий гвардеец дал промах), Адальберто Гомес вздрогнул от неожиданности, икнул и повалился на песок, которым был посыпан двор, повалился головой на восток, где за живой изгородью виднелась крыша скобяной лавки. Глаза его в последний раз нашли жёлтую вывеску его жизни, прежде чем разучиться видеть, а лейтенант Луис Бастиани, который в продолжение казни ходил по двору, в чёрных очках, и всё бормотал что-то, как сумасшедший перипатетик, приблизился к убитому и, побледнев и старательно не глядя на кровь, которая растекалась по песку из простреленной груди, носком сапога опустил ему веки. А потом поднял золотую монетку, что выпала изо рта лавочника, откатилась и теперь поблёскивала на песке. С этой монеткой во рту Адальберто Гомес родился, и старая Филомена, бывшая при родах повитухой, увидев это, сказала измученной матери: «Радуйся, Мария, твой Адальберто родился с золотым эскудо на языке! Быть ему богачом, отрадой твоей старости». Мария Хосе устало улыбнулась радостной новости, а старуха Мадалена, спорщица и вечная соперница Филомены, тут же возразила: «Правильно ли я слышала, кума, что монета была у мальчика на языке? Ну так я скажу тебе, что ты не разбираешься в приметах, потому как это значит лишь то, что он будет знатным говоруном, и люди будут ходить за ним, как за Христом, чтобы послушать его речей. Вот если бы монета была у него в кулачке, тогда совсем другое дело, тогда бы я с тобой сразу согласилась бы». Что ж, вышло так, что примета обманула и обеих повитух и роженицу, потому что ни богатством, ни красноречием известный молчун Адальберто Гомес, всю жизнь простоявший за прилавком скобяной лавочки, но так и не выбившийся в люди мало-мальски состоятельные, не отличался, а добрая мать его не дожила до старости,

умерев через три года при новых родах. Золотой же эскудо лейтенант Луис Бастиани по пьяной лавочке проиграл кому-то в карты.

Матео Сакраменто поместили в каменном сарае под охраной часовых. Когда он вошёл в тёмную, душную и зловонную тьму, он не сразу увидел глаза, что наблюдали за ним из вороха гнилого сена в углу. Только после того, как зрение его привыкло к темноте, он заметил в полосах света, падавших сквозь щели старой двери, блеск этих глаз, но сколько ни старался, никак не мог разглядеть, кому они принадлежат. И только подойдя ближе, наклонившись и присмотревшись как следует, вспомнил поговорку, которую часто повторял падре Поликарпо из Тапальо: «Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет». А падре Поликарпо – в миру Атанасио Васкес де Куэйра, уроженец Гуаранки – знал, о чём говорил, поскольку поиск кошек, в том числе и чёрных, в том числе и в тёмных комнатах, был частью его нелёгкой жизни и служения, прежде чем он поменял фартук мясника на сутану. С той ночи, когда война разорвала надвое карту страны и до того дня, в который Атанасио Васкес де Куэйра превратился в падре Поликарпо, многие из жителей по-военному голодной Гуаранки навсегда потеряли своих Бобо, Чуч и Хуанит, зато в лавке Атанасио Васкеса всегда можно было прикупить либру свежайшей крольчатины, и хозяйки всех этих Тото, Пепит и Арамисов охотно её покупали, не забывая поблагодарить Атанасио и удивиться, как в такие трудные времена удаётся ему доставать хорошее мясо.

Она сидела, вся поджавшись, прикрывая руками грудь, словно боялась, что он сейчас станет её бить, и неотрывно смотрела ему в лицо. Странно, но во взгляде её он не прочёл ни страха, ни отчаяния, ни бегства – взгляд был спокоен и будто бы отстранён. Ей было лет шестнадцать, не больше. Она была самбо, почти чёрная, с оливковым оттенком – вот почему поначалу он не мог увидеть ничего, кроме её глаз. Лицо некрасивое, в другое время сказал бы Матео, а вот глаза ему понравились – выпуклые и как будто сонные, с поволокой, с яркими белками, отливающими синевой, они смотрели в его лицо неотрывно, почти не мигая, но во взгляде при этом не было любопытства, будто она просто задумалась, а взгляд блуждает сам по себе.

– Меня зовут Тани, – сказала она, и голос её был низок, глубок, хриловат и согревал, как тёплые воды Рио-Кьеды. У Матео тут же защемило сердце. Он не знал, что такое любовь, и не смог бы отличить обычную сердечную боль, если бы когда-нибудь у него болело сердце, от боли любовной, поэтому даже и не думал ни о чём таком. Но сердце у него щемило, пока он вглядывался в лицо этой девочки – да, девочки, потому что не было в ней пока ничего от женщины, бёдра были ещё узки и грудь едва-едва угадывалась под платьем, и не выглядела она ни хорошо сложенной, ни красивой, как уже было сказано.

– Меня зовут Тани, – повторила она после некоторого молчания, во время которого в сердце Матео Сакраменто вошла и стала в нём обживать любовь. – А как зовут тебя?

Он назвал своё имя, и голос его дрожал.

Больше они не говорили, она уснула почти сразу, а он всю ночь лежал рядом с нею без сна, боясь пошевелиться, и только вдыхал её запах – запах горького миндаля и горелого дерева, которым почему-то отдавал её пот. Матео лежал, а сердце его вместе с заходящим солнцем опускалось за горизонт.

Наутро они сидели лицом к лицу, так близко, что ощущали дыхание один другого на своих щеках, и каждый молча рассматривал лицо напротив, и сердце Матео поднималось над землёй вместе с солнцем. А он и не думал никогда, что так бывает.

– Расскажи мне про себя, – попросила она.

Матео Сакраменто был не мастер рассказывать. Да и история его жизни, записанная на девятнадцати страницах ученической тетради в линейку, не изобиловала происшествиями, достойными того, чтобы рассказать их женщине-девочке, вместе с которой он, быть может, умрёт в один день, но с которой не жил долго и счастливо и никогда уже не будет, если верить

лейтенанту Бастиани, которого можно было обвинить во многом, но уж точно не во лжи во спасение. В жизни Матео Сакраменто не случилось пока ничего достойного рассказа, но он не мог отказать ей в просьбе, а потому громко и с выражением, как старательный школьник, прочитал ей несколько страниц из тетради своей жизни и всё боялся, что она станет смеяться, но ни одна улыбка не дрогнула на её губах.

– А как ты стал партизаном? – спросила она, когда он замолчал.

Матео Сакраменто вздрогнул от этого вопроса, потому что об этом она не должна была спрашивать – она же не лейтенант Луис Бастиани; и он посмотрел в её лицо долгим взглядом, а потом сделал вид, что задумался над своими воспоминаниями и не слышал. Он до дрожи в сердце надеялся, что она не повторит вопроса, считал секунды молчания, и каждая прошедшая секунда увеличивала его надежду. Но она повторила.

– Никак, – ответил он, глядя на свои башмаки. – Я не стал партизаном. Никогда им не был.

– Хорошо, – сказала она. – Значит, тебя не расстреляют.

Её часто забирали. Иногда днём, чаще – вечером. Возвращалась она следующим утром, измученная, медлительная, отрешённо молчаливая. Матео догадывался, куда и зачем её уводят, но делал вид, что ничего не понимает. Однажды она сама сказала ему: «Этот капрал носит венки из колючей проволоки и любит вести себя как мальчишка, как будто ни разу не был с женщиной. И он опять делал мне больно». При этих её словах Матео покраснел и опустил голову, а в сердце его свинцовым комком застыла ненависть, и капрал четырежды умер в муках, прежде чем Тани произнесла следующее слово. На самом деле он умрёт всего один раз, капрал Хиларио Руис, как и всякий человек, достойный лишь единожды испытать горечь и тоску умирания, прежде чем душа его наконец-то отделится от тела, но будет это значительно позже, через несколько лет после окончания войны. Умрёт от страха, увидев во сне безглазую собаку, а страх этот будет преследовать его всю жизнь, потому что такая смерть была предсказана ему ещё в детстве цыганкой из табора, проходившего через Ноа-Вердад, где жил будущий капрал. В тот день его мать Хосефина Руис остановила одну старую прокуренную цыганку и уговорила её за пять пиастров и пару сигарилл предсказать будущее маленькому Хиларио, и цыганка, звали её Лурдес, наклонилась к десятилетнему мальчику, чтобы заглянуть ему в лицо и рассмотреть ладонь, и, понюхав воздух у его рта, сказала задрожавшей Хосефине: «Твой сын никогда не узнает ни любви, ни дружбы, проживёт недолго, а умрёт, увидев во сне безглазую собаку; но когда та приснится ему, я не знаю, да и не всё ли равно». Хиларио и раньше боялся собак, а после такого предсказания стал бояться ещё пуще. С того дня он совсем перестал спать, и не уснёт больше ни на минуту до последнего своего сна, того, в котором он умрёт, как ему и было предсказано. Он никогда не выпьет ничего крепче воды, потому что алкоголь усыпляет; он никогда не ляжет ни с одной женщиной, потому что женская ласка усыпляет, и будет брать женщин только стоя и торопливо, чтобы внезапный сон не обуял его. Он всю жизнь проходит в венке из колючей проволоки, чтобы жгучая боль тут же разбудила, если сон заставит его приклонить голову, и поэтому голова его вечно будет покрыта кровоточащими язвами и коростой. Он будет медленно сходить с ума, а однажды, через много лет после войны, полубезумный, не имеющий ни семьи, ни друзей, убивший за свою жизнь триста пятьдесят одну собаку, в окрестностях Ноа-Вердад он напьётся из ядовитого ручья и мгновенно уснёт, и даже металлические шипы не разбудят его. Во сне к нему придёт та пегая облезлая псина с вытекшими глазами, что всю жизнь ждала своего часа, свернувшись клубком в его голове под проволочным венком, и тогда сердце его разорвётся от страха. А голодные муравьи так обезобразят его лицо, что когда останки Хиларио Руиса наконец найдут, его не смогут опознать и похоронят как безродного, за счёт коммуны, в безымянной могиле – груды недоеденного муравьями протухшего мяса.

Иногда Тани не было весь день, а то и два. После такого длительного отсутствия она возвращалась притихшая, от неё пахло вином и духами, обычного горького запаха пота не чув-

ствовало. Матео подмывало спросить её, что с ней происходит в эти дни, но он не решался. В один из таких дней она сказала:

– Я должна рассказать лейтенанту что-нибудь про тебя, он снова требовал. Меня уже садили к другим пленным, и потом я рассказывала про них Бастиани.

– Ты поступала плохо, – покачал головой Матео.

– Да. Но я должна была, чтобы меня не расстреляли. Я не хочу быть убитой.

– Понимаю. Но всё равно это нехорошо.

– Я просила у них, у тех, к кому меня подсаживали, чтобы они сами рассказали мне такое, что я могла бы передать лейтенанту. Расскажи мне что-нибудь, что не навредит тебе или другим людям.

Матео Сакраменто подумал и рассказал ей про Хосе Рохаса. Рассказ уже не мог навредить Хосе и его соратникам, потому что всех их убили месяц назад на перевале Ачиукан. Он даже сказал, в какой деревне жил Хосе со своей сестрой Мерседес. Она давно уехала к родным на Север, так что у лейтенанта при всём желании не дотянулись бы до неё руки. А руки у него были хваткие, с длинными тонкими пальцами музыканта, на которых поблёскивали холёные ногти. И эти нежные, почти женские руки умели бить очень больно, как уже знал Матео. Ох как вцепились бы они в Мерседес, если бы только могли дотянуться до неё! Именно поэтому лейтенант Луис Бастиани так и не научился играть на скрипке, как ни трудился над ним учитель – он всегда хватал инструмент и смычок так, будто снова душил ту канарейку, которую умертвил однажды, так и не поняв, намеренно он это сделал или всё вышло случайно. И, разучивая ненавистный второй каприс Паганини, он водил смычком по струнам с такой силой, что они не выдерживали и с жалобным визгом лопались, а маленький Луис до крови кусал губы и клялся отомстить ненавистному учителю, только вырастет. Он исполнил эту клятву на третий год войны, когда раненого и взятого в плен после уничтожения отряда «Мортерос» скрипача приволокли в сегуридад. Луис Бастиани и рад был бы не исполнять давней клятвы, потому что к тому времени научился ценить воспоминания детства, но если ты продал душу войне, от тебя уже ничего не зависит – даже её исход, что уж говорить о жизни отдельного человека. И он плакал, в чёрных очках стоя у окна во двор, когда колени скрипача подогнулись и старик обвис на верёвках, которыми его привязали к расстрельному столбу, плакал от жалости к себе. Когда ровно сто тридцать три года тому назад тринадцатилетний Джамбаттиста Бонджорно ступил на горячую пыльную землю своей новой родины с борта «Астерии», босиком, потому что там, в тёмной бездне трюма продал свои новенькие лаковые туфли пройдохе Луиджи Бастиани за пять песо, босиком, но с любимой скрипкой в руках, разве мог он знать, что его единственного сына, учителя музыки Луку Бонджорно расстреляет внук того самого Луиджи Бастиани, сторовавшего у него новенькие лаковые туфли мануфактуры «Нико Дзаннони» за жалкие пять песо?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.